

«Что это?» То была первая фраза, произнесенная моим сыном, и долго это было единственное, что он мог сказать. Пока сын учился говорить, я узнала, как часто в нашем языке отражаются части тела при назывании частей разных предметов. «Мы снабжаем стулья ножками и спинками, — пишет поэт Марвин Белл, — а бутылки — горлышками». Способность создавать и понимать метафоры такого рода дает нам язык, который и сам целиком состоит из метафор. Анализ практически любого слова позволит выявить, как говорил Эмерсон, «ископаемую поэзию», метафоры, которые прячутся под современным употреблением слова. Например, слово «обязательный» мы использовали как синоним слова «непременный», но еще лет сто назад его употребляли как синоним слов «любезный» и «надежный», выражения «умеющий держать слово»: какой обязательный человек!

«Наши тела порождают наши метафоры, — пишет Джеймс Гири в книге «Я есть другой», — а наши метафоры порождают образ наших мыслей и поступков». Если мы заимствуем наше понимание мира у наших собственных тел, то представляется неизбежным, что вакцинация в этом смысле весьма символична: игла протыкает кожу, это зрелище впечатляет так сильно, что многие люди от него падают в обморок; при этом под кожу еще вводят какое-то чужеродное вещество. Метафоры, которые мы находим в этом действе, поистине вызывают страх; нам начинают мерещиться насилие, разложение и порча.

Британцы называют прививку «уколом», а американцы с их любовью к огнестрельному оружию — «выстрелом». Как бы то ни было, но вакцинация — это насилие. Если же вакцинацию делают с целью предупредить заболевание, передающееся половым путем, то насилие в умах несведущих людей трансформируется в насилие сексуальное. В 2011 году кандидат в президенты от республиканской партии Мишель Бахман предупреждала о «вредоносной» вакцине против вируса папилломы человека и утверждала, что неправильно «принуждать невинных двенадцатилетних девочек к навязанной государством прививке». С ней согласился ее соперник Рик Санторум, добавив, что бесцельно «силой вакцинировать маленьких девочек по принуждению правительства». Одни родители уже тогда жаловались, что вакцина «не подходит для девочек столь юного возраста», а другие боялись, что вакцинация приведет к еще большей половой распущенности.

В девятнадцатом веке введение вакцины оставляло на коже рубец. Это отметка зверя, опасались многие. В своих проповедях один англиканский архиепископ в 1882 году уподобил вакцинацию инъекции греха, «омерзительной смеси разврата, покрывательству человеческого порока и праздных вожделений, что в последующей жизни может затуманить дух, очернить душу и ввергнуть ее в ад».

Вакцинация уже давно не оставляет на теле рубцов, но страх быть помеченным остался. Мы боимся, что вакцинация приведет к аутизму или к какой-нибудь из болезней иммунитета, которыми мы так часто страдаем в нашем индустриальном обществе: сахарному диабету, бронхиальной астме или аллергии. Мы боимся, что вакцина против гепатита В приведет к рассеянно-

му склерозу, а прививка от дифтерии, столбняка и коклюша — к внезапной детской смерти. Мы боимся, что введение нескольких вакцин одновременно приведет к перегрузке иммунной системы и что множество вакцин может ее просто уничтожить. Мы боимся, что формальдегид, содержащийся в некоторых вакцинах, может вызвать рак или что содержащийся в них алюминий приведет к разрушению мозга.

В девятнадцатом веке многие считали вакцины смесью «аспидного яда, крови, внутренностей и выделений крыс, летучих мышей, жаб и щенков». Вакцина была органическим веществом, нечистотой, ее рассматривали как первопричину многих болезней. Вакцину считали ведьминым варевом. Надо сказать, что в те времена вакцинация и в самом деле была опасной. Не потому что у детей могли отрасти коровьи рога или копыта, как опасались некоторые, но потому что при вакцинации по способу «из руки в руку» могли передаваться такие болезни, как сифилис. При способе «из руки в руку» гной из пузырька, который образовывался на коже недавно вакцинированного человека, прививали другому. Даже после того, как при вакцинации перестали вводить телесные жидкости других людей, большой проблемой оставалось бактериальное заражение из-за несоблюдения асептики. В 1901 году из-за введения вакцины, зараженной столбняком, от него умерли девять детей в Кэмдене (штат Нью-Джерси).

Теперь наши вакцины, если они сделаны правильно, стерильны. В некоторых вакцинах есть вещества, которые подавляют рост бактерий. Но теперь, как говорит активистка Дженни МакКарти, мы боимся в вакцинах «проклятой ртути, эфира, алюминия и антифриза». Теперь наше ведьмино варево состоит из

вредных элементов и химических соединений. На самом деле, в вакцинах нет ни эфира, ни антифриза, но упоминание этих веществ говорит не о вакцинах, а о нашем индустриальном мире. Оно говорит о химикатах, которые мы обвиняем в ухудшении нашего здоровья, в загрязнении окружающей среды.

В 1881 году одна листовка, озаглавленная «Вампир вакцинации», предупреждала об «универсальном загрязнении», которому подвергает вакцинирующий «чистое невинное дитя». Известные тем, что они питаются кровью детей, вампиры были в то время самой подходящей метафорой для человека, который, делая прививку, наносил рану младенцу. Сосавшие кровь чудовища были отвратительны, но викторианские вампиры могли выглядеть соблазнительно. Темная сексуальность вампира усиливала страх того, что в самой вакцинации было что-то сексуальное, и эта тревога только увеличивалась от известий о случаях заражения венерическими заболеваниями при вакцинации по способу «из руки в руку». Викторианские вампиры, как и викторианские врачи, ассоциировались не столько с порчей крови, сколько с экономической коррупцией. Викторианцы изобрели платную медицину, и, поскольку врачи стали доступны только богатым, они стали вызывать подозрение у рабочего класса.

Граф Дракула Брэма Стокера — кровожадный буржуа. В его замке огромные груды золотых монет, а когда ему наносят удар кинжалом, из его плаща сыплются такие же монеты. Но трудно представить себе, как Дракула вводит вакцину. Из всех метафор, предложенных на многочисленных страницах «Дракулы», больше всего ему подходит метафора болезни. Дракула прибы-

вает в Англию таким способом, каким может прибыть новая болезнь, — в лодке. Он созывает орды крыс, и его заразительное зло распространяется от первой укушенной им женщины на ее детей, которых она, сама того не сознавая, пожирает по ночам. Особенно страшным Дракулу делает то, что он чудовище, чудовищность которого заразительна.

К 1897 году, когда была опубликована книга о Дракуле, микробная теория болезней была общепризнанной, но в начале века эту теорию высмеивали все, кому не лень. Подозрение, что микроорганизмы определенного типа вызывают болезни, буквально витало в воздухе столько лет, что сама теория уже казалась устаревшей к тому моменту, когда Пастер продемонстрировал присутствие бактерий в воздухе с помощью двух пробирок с питательным бульоном: одна была закупорена, вторая — нет. Среди охотников за Дракулой, «стерилизовавших» его гробы с тем, чтобы он не мог найти в них убежище, были два врача, которые разошлись в диагнозах. Более молодой врач не мог заставить себя поверить в вампиров, несмотря на очевидность, и старый врач произнес страстную речь о пересечении науки и веры.

«Позволь мне сказать, друг мой, — говорит он, — что сегодня в науке об электричестве делаются такие вещи, которые показались бы кощунственными тем самым людям, которые открыли электричество и которых самих едва за это не сожгли на костре, как колдунов». Далее он вспоминает Марка Твена: «Я слышал об одном американце, который так определяет веру: “Это то, что делает нас способными поверить в вещи, которые, как нам хорошо известно, не существуют”». Он имел в виду, что мы должны иметь открытый ум и не должны давать маленькой

правде мешать поступи великой истины, чтобы эта правда, как маленький камешек, не стала причиной крушения огромного поезда».

«Дракула» как раз об этом — о проблеме соотношения доказательства и истины, а не только о вампирах. Книга утверждает, что одна истина может подорвать другую, она поднимает вечный вопрос: верим ли мы, что вакцинация более чудовищна, чем болезнь.

«Глубоко в душе каждого человека гнездится страх остаться одному в мире, забытом Богом, незаметным в огромном скопище миллионов и миллионов людей», — писал Кьеркегор в 1847 году в своем дневнике. Это был год, когда он закончил «Дело любви» — произведение, в котором утверждал, что любовь познается не в словах, а по ее плодам.

Я прочитала первые пятьдесят страниц, когда училась в колледже, но в изнеможении оставила это чтение. На этих страницах Кьеркегор трактует заповедь: «Ты должен возлюбить ближнего своего, как самого себя», анализируя ее буквально слово за словом. Исследовав природу любви, он обращается к словам «как самого себя», а потом объясняет, что означает «ближнего своего», после чего трактует значение выражения «ты должен». С помутившейся головой я оставила чтение вскоре после заданного Кьеркегором вопроса: «Но кто есть ближний?» На этот вопрос философ частично отвечает так: «Ближний — это тот, кого философ назвал бы другим, посредством чего может быть испытана эгоистичность любви к себе». Я прочла достаточно, чтобы озаботиться идеей о том, что надо поступать по вере, а возможно, даже выступать ее воплощением.

Из глубин моего детства всплыло воспоминание о том, как мой отец с энтузиазмом объяснял, что такое эффект Доплера, на примере звука машины скорой помощи, которая обогнала нас на дороге.

Когда мы смотрели на закат над рекой, где мы жили, он описывал эффект рассеяния Рэлея, отсечение коротких волн атмосферой, из-за которого облака и трава казались красноватыми, а к вечеру трава приобретала более насыщенный зеленый цвет. Однажды в лесу он вскрыл отрыгнутое совой содержимое ее желудка и извлек оттуда маленький мышинный скелетик. Отец восхищался природой намного чаще, чем говорил о человеческом организме, но о группах крови он всегда говорил с воодушевлением.

Людам с первой резус-отрицательной группой крови можно переливать кровь точно такой же группы, но зато их кровь можно переливать людям с любой другой группой. Именно поэтому людей с первой группой и отрицательным резусом называют «универсальными донорами». Отец как-то сказал, что у него тоже кровь первой группы и резус-отрицательная, а значит, и он универсальный донор. Он говорил, что сдавал кровь часто, потому что его кровь была всегда востребована для экстренных переливаний. Подозреваю, что он тогда уже знал то, что я открыла только много позже — что у меня тоже первая группа резус-отрицательной крови.

Я понимала словосочетание «универсальный донор» не столько в этическом, сколько в медицинском смысле, еще до того, как узнала, какая группа крови у меня. Но я не думала об этическом смысле этого словосочетания, как о фильтре медицинского образования, через который мой отец пропустил свою католическую веру. Я воспитывалась вне церкви, никогда не была у причастия, и поэтому мне никогда не напоминали, что Иисус отдал свою кровь, чтобы мы могли жить, когда отец говорил об универсальном доноре. Но я уже тогда верила, что мы обязаны другим нашими телами.

Я помню, что всякий раз, когда отец в лодке отплывал от берега, он брал с собой спасательный жилет, на котором несмываемой краской было написано: «Донор органов». Это была шутка, в которую он тем не менее искренне верил. Когда он учил меня водить машину, то дал мне совет, полученный им самим от своего отца, моего деда: когда ведешь машину, ты отвечаешь не только за нее, но и за машину, которая едет впереди, и за машину, которая едет сзади. Учиться вести три машины сразу было утомительно, и иногда на меня нападало оцепенение, которое случается и сегодня, когда я веду машину. Но, получив права, я вписала свое имя на бланк «Донор органов».

Самое первое решение, которое я приняла за моего сына в тот момент, когда его тело отделилось от моего, было сдать его кровь из пупочной вены в банк крови. К тридцати годам я сдавала кровь только один раз, в колледже, как раз, когда читала Кьеркегора. Мне хотелось, чтобы мой сын начал свою жизнь, дав банку кредит, а не влезая у него в долг. Это пожертвование крови состоялось до того, как мне, универсальному донору, после родов пришлось перелить два пакета крови, драгоценной крови, полученной из того же банка.

Если мы представим себе действие вакцины не только как влияние на отдельно взятый организм, но и как влияние на совокупный организм сообщества, то будет правильно думать о вакцинации как о создании банка иммунитета. Вкладами в этот банк являются пожертвования тех, кто не может или не хочет защищаться за счет собственного иммунитета. Этот банк работает по принципу *популяционного иммунитета*, и именно за счет создания такого иммунитета массовая вакцинация становится более эффективной, чем вакцинация индивидуальная.

Любая вакцина может оказаться неэффективной у конкретного индивида, а некоторые вакцины, например против гриппа, менее эффективны, чем другие. Но когда достаточное число людей привиты даже не очень эффективной вакциной, у вирусов возникают большие трудности с переходом от хозяина к хозяину, и эпидемия прекращает распространяться, щадя тех, кто не был вакцинирован, и тех, у кого действие вакцины оказалось неэффективным. Именно поэтому шанс заразиться корью даже у вакцинированного человека выше в населенном пункте, где вакцинированы очень немногие, чем у невакцинированного человека, живущего в населенном пункте, где вакцинировано большинство жителей.

Невакцинированный человек в такой ситуации защищен организмами других людей, в которых вирус не может размножаться. Но вакцинированный человек, окруженный организмами, гостеприимными к вирусу, становится уязвимым, если вакцина не сработала или если иммунитет, вызванный вакцинацией, ослаб. Мы защищены в этой ситуации от болезни не нашей кожей, а тем, что находится вне ее. Именно здесь начинают стираться границы между нашими телами. Дарования крови и органов перемещаются между нами; кровь и органы покидают одни тела и входят в другие, и то же самое происходит с иммунитетом; он становится трастовым фондом, а не личным счетом. Те из нас, кто пользуется коллективным иммунитетом, обязаны своим здоровьем ближним.

Когда моему сыну было шесть месяцев, на пике пандемии гриппа H1N1, одна мамочка сказала мне, что не верит в стадный

иммунитет¹. Это теория, сказала она, и она относится к коровам. То, что стадный иммунитет может стать предметом веры, до этого просто не приходило мне в голову, хотя, конечно, есть что-то оккультное в идее того, что невидимое защитное покрывало накинуто на все население.

Понимая, что я плохо разбираюсь в механизме этого волшебства, я стала искать в университетской библиотеке статьи о стадном иммунитете. Я узнала, что еще в 1840 году один врач заметил, что если вакцинировать от оспы только часть населения, то эпидемию можно полностью остановить. Косвенная защита появляется, правда, временно, после того, как большое число людей приобретут естественный иммунитет после перенесенного во время эпидемии заболевания. В эру до вакцинаций от детских болезней, таких как корь, эпидемии приходили волнами, после которых наступали периоды затишья, длившиеся до тех пор, пока не подрастало определенное число детей, не обладавших иммунитетом к болезни. Стадный иммунитет, как поддающийся наблюдению феномен, кажется теперь неправдоподобным, только если мы будем думать, что наши организмы полностью отделены друг от друга. Впрочем, большинство из нас думает именно так.

Само выражение «*стадный иммунитет*» предполагает, что мы являемся стадом, ожидающим, видимо, когда нас отведут на бойню. При этом сама собой напрашивается прискорбная аналогия с выражением «*стадное мышление*», которое стало почти синонимом непроходимой глупости. Быть в стаде, считаем мы,

¹ В английском языке «популяционный иммунитет» обозначается термином “herd immunity” — стадный иммунитет. В связи с контекстом я в дальнейшем буду пользоваться именно таким обозначением. — *Прим. пер.*

глупо. Те из нас, кто изжил в себе стадное мышление, предпочитают мышление пограничное, согласно которому мы представляем себе наши организмы как изолированную усадьбу, за которой мы — хорошо ли, плохо ли — ухаживаем сами. Согласно такому стилю мышления, состояние здоровья соседней усадьбы не влияет на нас, пока у нас самих все в порядке.

Если мы изменим метафору стада на метафору улья, то, вероятно, идея коллективного иммунитета покажется нам более привлекательной. Медоносные пчелы — это матриархальные благодетели окружающей среды, которые всецело зависят друг от друга. Здоровье каждой отдельно взятой пчелы, насколько нам известно из данных об эпидемиях, уничтожающих ульи, зависит от здоровья всего роя. В книге «Мудрость толпы» журналист Джеймс Суroveцкий детально описывает поведение пчел-разведчиков и способы общения, используемые пчелами для сбора нектара. Сотрудничество пчел, считает Суroveцкий, являет собой пример коллективного решения проблем, от которого зависит и наше человеческое общество.

Хотя есть много свидетельств о том, что толпа часто принимает плохие решения — на ум сразу приходит суд Линча, — Суroveцкий считает, что большие группы совершенно обыденно решают сложные проблемы, что недоступно отдельным индивидам. Группы людей, если они достаточно разнообразны и вольны не соглашаться с другими, могут проявить мыслительные способности, недоступные для самых лучших экспертов. Группы способны находить потерянные подводные лодки, предсказывать поведение фондовых рынков и обнаруживать причины новых болезней. В марте 2003 года, когда таинственное респираторное заболевание убило в Китае пять человек, Всемирная

Откровенно об иммунитете. Вакцинация

организация здравоохранения наладила сотрудничество лабораторий десяти стран, чтобы найти причину того, что сейчас называют тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС). Лаборатории, которые сами по себе являются группами, работая совместно, делились друг с другом данными и обсуждали результаты в ходе ежедневных конференций. К апрелю они выделили новый вирус, вызывающий болезнь. Ни один отдельный человек не руководил единолично поиском возбудителя, ни один человек не мог приписать себе честь этого открытия. Наука, напоминает нам Суровецкий, является сугубо коллективным предприятием. Наука — продукт стада.